

# Мария Козлова

## «И нежность которая боль»

(о поэзии Андрея Высоковского)

Андрей Высоковский автор трех книг стихотворений – «Автопортрет с распростертыми объятиями. Девяносто одно стихотворение в стихах», «Нам песня стоит ли жить помогает» и «Я пришел дать вам волю слезам». Книги вышли совсем недавно (две – в 2019, третья – в 2022), и многое в них звучит вполне злободневно. Однако, было бы ошибкой считать написанное всего лишь разговором о сегодняшнем (вчерашнем) дне – да и не разговор это вовсе, а, скорее, само мироощущение человека конца двадцатого-начала двадцать первого века. Тем интереснее поразмышлять о том, что же это за мироощущение, почему эти стихотворения написаны так грустно, так «иногда смешно но в общем жутко» и – зачастую – до боли нежно.

перекуём паяльник на уют / погладим уютгом пододеяльник /  
как чук и гек точнее гек и чук /нет всё-таки как чук и гек начальник

или

человек человеку сестра / милосердия да милосердия /  
человек может спать у костра / даже с острой заточкой в предсердии

Всё в этих стихах смешалось, перепуталось, переплелось – тут и царская Россия, и серебряный век, Великая Отечественная и другие войны, Советский Союз и «лихие девяностые», грубость и нежность, егрюл и егрп, красота и безобразие. А может, и не безобразие даже – а какая-то всеобщая нелепость – человека, времени, жизни. Как там у любимого Высоковским и автором этих строк Георгия Иванова – «Этой жизни нелепость и нежность /Проходя, как под тёплым дождем, / Знаем мы – впереди неизбежность, / Но её появленья не ждем».

Поэзия Андрея Высоковского появилась на свет уже после «неизбежности», когда, по словам самого поэта, «давно навсегда рассвело». Оттого иногда кажется, что стихи эти поэт начал писать вдруг, ни с того, ни с сего – «проснувшись от резкого света» какой-то не то падающей звезды, не то кометы – «лучезарной вестницы зла».

Наверное, так и пишутся стихи, коль скоро речь именно о стихах, а не об «-измах» (Высоковский бы меня поправил – «стихи нельзя писать ни-

как») – поэт смотрит на мир и на себя в мире и пишет – из того, что есть, о том, что есть. Парадокс же заключается в том, что то, что есть – это не какая-то объективная реальность, данная нам в ощущениях, но всегда реальность преображенная (или искаженная), подсвеченная и освещенная (иногда освященная) человеческим взглядом.

Именно на этом основана не субъективность лирической поэзии, но, напротив, абсолютная её объективность. Та форма, которую находит для себя поэзия – это не пустая формальность, не форма для содержания, а форма самой жизни. Выходит, что это не в стихах Высоковского всё смешалось, а в самом бытии. И да, это не вчера произошло, и до этих стихов предпринимались попытки показать мир человека двадцатого-двадцать первого века – иногда в форме самоиронии и игры (к примеру, Тиняковский «плевков-плевочек», которому «любо» мчаться по грязной канавке), крайне редко – в виде отчаянной попытки «извлечь из хаоса тот единственный ритм, от которого, как скала от детонации, должно рухнуть мировое уродство», зачастую же – в форме умышленной демонстрации самого мирового безобразия по типу афоризмов полковника Ельца, о котором вспоминает Георгий Иванов в одном из своих писем Гулю: «...М. б. читали в свое время: “Смерть есть тайна, которой еще никто не разгадал”. И рядышком: “Разбить бидэ – быть беде”...»

Последнее (то есть умышленная демонстрация мирового уродства) требует от поэта не какой-то там особенной честности или наблюдательности, но, прежде всего, дистанции – вроде знаменитого автокомментария Пикассо к беспепелляционной безобразности «Герники» – «это не я сделал, нет, это вы сделали», или безоговорочной и безжалостной капитуляции обэриутов, или интеллектуальной игры – в духе Пригова и концептуалистов. Но правда заключается в том, что дистанция в поэзии вовсе не залог честности и правоты, скорее, наоборот – это искусственная операция по разрезанию живой ткани бытия, попытка отделить себя от мира, оправдаться, обезопаситься, остаться в стороне.

Совсем иначе обстоит дело со стихами Высоковского. Откуда говорит поэт? Не из исторической перспективы, не свысока, не снисходя, а откуда-то с краю – не в том смысле, что «моя хата – с краю», а в том, что поэзия всегда говорит из своего – нашего, общего, края, оттуда, куда сместилось сердце мира – нелепого, жалкого, родного. Только тот, кто ощущает себя неотъемлемой частью всего этого, тот, кто признает свое кровное родство со всем этим, может говорить без позы, без вранья:

я застойный ребёнок я врать не люблю /и огромной фигни на краю /  
сквозь поля и моря я порю и молю / несмешную молитву мою

«На отшибе огромной страны», на краю «огромной фигни», несмешного и некрасивого бытия, изнутри «страшненькой» жизни поэт и говорит – и отнюдь не только о том, что жизнь страшненькая, но еще о том, что и она, страшненькая, заслуживает любви и нежности, так как только любовью и нежностью всё спасается – «это просто стихи лабуда ерунда/беззащитная речь адвоката».

На днях один известный литератор, размышляя о поэзии, договорился до того, что свобода поэзии заключается в ее абсолютной живучести – мол, не из одной любви или там благородства рождаются стихи, но, в том числе, из зависти, из ненависти, из мерзости. Известный литератор, разумеется, говорил, прежде всего о себе, и ошибся он только в одном – из зависти и злобы, из рессентимента стихи не растут, из мерзости растет только мерзость, пусть и облеченная в литературную форму (см. афоризмы полковника Ельца). Стихи же – всегда на стороне человека, который, как это давно известно и не мной сказано, начинается с горя. С сожаления, с жалости, с молитвы, с неугасимой веры в чудо даже тогда, когда сами эти слова «вера», «чудо», «молитва», казалось бы, потеряли всякий смысл. Что же нужно для того, чтобы почувствовать себя вправе произнести эти слова? В сущности, не так много – во-первых, быть живым, во-вторых, действительно, чувствовать то, о чем говоришь, и говорить так, как чувствуешь (это и есть талант).

В том, что Высоков жив и говорит так, как чувствует, нет никаких сомнений, и в этом – безусловное достоинство этих стихов. Поэт не играет и не притворяется, не умиляется этому миру – он и умен, и зол, он довольно давно живет на свете, он не то чтобы совсем чужд риторике –

в тихом омуте аэродром и хорошо натоплено  
прозеваешь мысль улетит не поймает  
человек звучит гордо просто эффект доплера  
проживи жизнь если ты меня понимаешь

Но при этом ни ум, ни риторика не играют в стихах Высоковского существенной роли – всё самое существенное случается в стихах не там, где автор с холодным вниманием смотрит на этот мир –

аппарат от храпа автомат калашникова  
вроде не гестапо а жизнь такая страшненькая  
в северный завод к нам сюда завозится  
достают до звёзд рабочий и колхозница

а там, где поэт словно на миг закрывает глаза и вспоминает о чем-то, действительно, важном: оказывается, у «страшненькой» жизни было

какое-то не страшное и не безобразное – живое – начало – назовем его детство («мне атмосферы плотные слои/ напомнили туннель в чужое детство»), и оно не просто безвозвратно утрачено (иначе оно не было бы началом, истоком), но по-прежнему сквозит в настоящем – пронизывает его и освещает –

...

я всех людей любил как братьев  
я думал так: давным-давно  
в одном блокадном ленинграде  
крутили старое кино

и проезжая по экрану  
на танке нексия седан

я зажимал на горле рану  
но умирал от прочих ран

а там качают головою  
и улыбаясь невпопад  
везут на санках за собою  
свой ленинградский снегопад

Сказанное не исключает и другого – стихи Высоковского не умиленные и не умиленные, здесь есть и ирония («ирония заключается в том что нет никакой иронии»), и то, что можно принять за шутку или каламбур («ботичелли еще спал в постели»), и то что, на поверхностный взгляд, может сойти за так называемую «постмодернистскую чувствительность» –

не разумеет что творим  
сняв голову по волосам  
руками гладим говорим  
о том о чём не знаю сам

Всё с той же, существенной, оговоркой – в мире, потерявшем всякие ориентиры, поэт по-прежнему помнит о чем-то самом главном («веровать в богов и в тебя мой боже / это не одно не одно и то же»). Именно ввиду этого самого главного бессилие постмодернистской «ностальгии по возвышенному» способно обернуться ностальгией по будущему, от которой всего один шаг до надежды –

...

ночь как генсек ивашко  
была в большой печали  
в окно кричали: пашка  
а чей не сообщали  
кричали б мамы детям  
по отчеству: мол павел

кузьмич ты мать оставил  
одну на белом свете  
и дети были б сыты  
и волки бы косматы  
и смерть была б убита  
в живот из автомата

